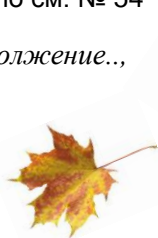


Саломея

Приключения, почерпнутые
из моря житейского.
Александр Фомич Вельтман.

Начало см. № 54

Продолжение...



КНИГА ТРЕТЬЯ

Часть седьмая

IV



Покуда Василий Игнатьич с сыном собираются в дом к невесте, мы отправимся вперед, за Москву-реку, ознакомиться с Селифонтом Михеевичем, с его супружницей, с прекрасной дочерью Авдотьей Селифонтовной и с их житьем-бытьем.

Вот, на одной из замоскворецких просторных улиц, не нарушаемой ни ездой экипажей, ни толкотней народа, вы сперва увидите длинный штучный забор и ворота хитрой работы, раскрашенные масляными красками пестро, но с большим вкусом. Над воротами врезан медный окладень. Войдете на двор - перед вами как нарисованы: вправо довольно большой дом со стекольчатым крыльцом; влево за забором, усаженным акациями: людские, конюшня и сарай; прямо за лужайкой зеленая решетка сада; подле калитки колодец с колесом, размалеванный на русский затейливый вкус. В саду, как водится, беседки, вход которых стерегут алебастровые раскрашенные китайцы; в глубине сада, как водится, баня, где в субботний день вся семья выпарится, вымоется, чтоб в чистоте и благочестии затеплить перед образами лампадки и встретить воскресный день молитвой. Сад тенист и цветущ, двор зелен, дом как новенький, все как будто сейчас построено. Ни в доме, ни на дворе ни шуму, ни стуку, ни людской брани, ни бабьего крику, ни беготни, ни толкотни. Всему время, всему место, во всем порядок, все просто, - кажется, ничего нет чрезвычайного, а как-то отрадно смотреть.

Вот идет опрятно одетая баба с кувшином на погреб, нацедить мартовского кваску к обеду. Погреб чист, все в нем ладно уставлено, бочки с медом и квасом, кадки с соленой капустой, огурцами, сливами, грушей, смородиной, крыжовником; банки с различным вареньем, крынки с молоком, маслом и сметаной; по стенам не растут грибы, плесень не портит запасов, нечистая рука ни к чему не прикасается, все берется с крестным знаменем. Ничто не опрокинется, не разобьется, не вытечет; на кошек и мышей нет поклепу, Дарья не сваливает на Марью, никто хозяйского не возьмет, не лизнет.

Вот молодчик в долгополом сюртуке кличет кучера:

- Иванушко, а Иванушко!

- Ась?

- Запрягай гнедых в коляску!

- Гнедых? ладно!

И кучер Иванушко - плотный, здоровый, кровь с молоком, борода по пояс, в плисовом полукафтанье, картуз набекрень - идет в конюшню; там стоит шестерка тысячных; чмокнул Иванушко - заржали, оглядываются на него, вычищены, выхолены, как декатированные. Потрепал по крупам, вывел гнедых - заманерились как свадебные плясуны. В сарае экипажи, сбруя, как на выставке. Лошади запряжены, Иванушко идет одеваться.

- Э, Иван Савельич, куда ты собираешься? - спрашивает его людская кухарка, прибирая все в кухне чисто-начисто и перетирая посуду к обеду.

- Еду с Селифонтом Михеевичем.

- Да ты бы хоть перекусил чего-нибудь.

- Некогда, сейчас подавать.

- Так возьми хоть за пазуху ломтик пирожка.

- Нет, спасибо, Савишна. Уж я не люблю из пустяков рот марасть.

- Ну, а как Селифонт Михееич останется где обедать?

- Так что ж: чай, лошадей-то отпустит домой, али там накормят. Вот был я в кучерах у нашего барина, так там порядок другой: как сядешь на козлы с утра, да вплоть до утра и проездишь...

- Ах ты, Господи! целый день на лошади, и вы так и голодаете?

- Как можно! Лошадей-то раза четыре переменяешь. Поутру вот объездишь домов двадцать; потом приедешь - запрягай другую четверню - ехать в гости обедать; отобедают, опять домой: с барыней в театр аль на бал, так и стоишь до утра...

- Ни пообедать, ни поужинать некогда? ах ты, Господи!

- Когда ж тут об обеде думать: барину-то, чай, не ждать тебя; а уж я не люблю на скорую ручку. Вот как в деревне господа, так другое заведение: наедут гости - так и господам, и людям, и лошадям корм, всего вволю; бывало, на конюшне-то лошадей сто чужих... Эх, да пора, пора!

Иван Савельич на козлы; а мы отправимся в дом, по чистой, опрятной лестнице, не похожей на *repente douce*; ну, да ничего, воображению и здоровому русскому человеку в законной одежде, не трудно взобраться на круть; дело другое *une dame* в длинном платье, которое спереди надо приподнимать и нести перед собою обеими ручками, чтоб не наступить на него даже на гладком паркете. Взобравшись по лестнице на окончатое крыльцо, входишь без доклада в переднюю: тут ни швейцаров, ни официантов нет, а выбежит какая-нибудь старушка, спросит: «Кого, батюшка?» - «Селифонт Михеич дома?» - «Дома, сударь, пожалуйста».

В комнатах немножко пустынько покажется с первого взгляда, да зато никакой пустоши нет: в каждой - в переднем углу - образ с лампадкой или целый иконостас образов. Селифонт Михеич жил по старому русскому обычаю: чисто, опрятно, тепло, уютно, - красно не стенами, а пирогами. Он жил не на господскую ногу, как многие из его собратий, не украшал комнат ни тумбами с фарфоровыми вазами, ни бумажными люстрами и канделябрами, ни гипсовыми золочеными амурами, Венерами и гениями, ни масляными огромными картинами ученической бездарной фантазии и кисти; ни всем прочим хламом, столь необходимым уже для современного человека, у которого, как у бессмысленного ребенка, разбегаются глаза на пестроту и блеск, которого занимает только внешность, который тянется только к тому, чем можно играть и забавлять себя; который кричит, когда ему не дают хлопнуть по зеркалу, разбить часы, рвать книгу, для которого всё игрушки, всё забава и, наконец, который любит только тех, кто потворствует ему и гладит по голове: «Пай дитя!»

Вообще никаких причуд не было у Селифонта Михеича; он не то, чтобы презирал их - нимало, но называл только вещами бесполезными. «Это, сударь, кажись ничего, говаривал он, да оно вот что, я вам скажу: оно хитро, очень хитро; аплике словно серебро; бронза словно золото; да по пословице: на хитрость-то поднимается голь, а не кто другой; так извольте смекать».

Разумный человек был Селифонт Михеич, богобоязлив, а следовательно, и честен; хоть и говорят, что можно иначе быть честным, да еще не доказано. Приняв в наследство торговые обороты отца своего, правдиво нажил он огромное богатство, не утратив веры в свое слово. Супружница его была также благочестивая женщина. Два сына - славные молодцы, надежные приказчики отца. Но, кроме двух сынов, была у него и дочка, Дунюшка. У Марьи Ивановны один грех пал на душу: страстная любовь к хорошенькой дочке. Все зло пошло от крестной матушки - жены закадычного друга Селифонта Михеича, Ирины Степановны. Она воспитывалась в пансионе и внесла в купеческий быт своего мужа всю изнеженность, все причуды барышни, которая училась говорить по-французски, танцевать, играть на фортепьяно, которая не могла выносить ни простого слова, ни простой пищи, ли простой одежды, ни простой жизни; которая алкала французской шляпки, французской материи на платье, французской-прически, духов, помады; словом, всего французского, а не русского. Когда Григорий Андреевич стал свататься за Ирину Степановну, Селифонт Михеич говорил ему: послушай моего совета, Григорий Андреевич, женись лучше на француженке, чем на французской кукле. Но этот совет не помог, сначала даже развел друзей. Сначала Григорий Андреевич возвеличился было молодой женой; не прошло недели, как почувствовал он, что из хозяина приходится ему, для мира и спокойствия, обратиться в приказчики: виноват не виноват, а отвечай за все, даже за скуку и недоброе расположение духа Ирины Степановны; то не так, другое не так, то слишком крепко обнял, то больно ухватил, то бороды не люблю, то кухарки не терплю - найми повара! Ужасный переворот в доме; переворот к так называемому просвещению или, лучше сказать, к утончению, к рафинировке, к разнообразию, к быстрому прожитку, к раздроблению вещественных и невещественных капиталов - капиталов внешних и внутренних, денежных и производительных, капиталов ума и чувств, словом, к эксцентрическому стремлению и преломлению всех лучей для образования миражей и мнимых солнц.

Как ни тягостно было для Григория Андреевича преобразование, как ни тяжел был супружеский его быт с Ириной Степановной, но между мужем и женой все шито да крыто: на душе мыши скребут, а на лице такое благорастворение воздуха, такая ясная погода, что Боже упаси.

Если супружеское счастье похоронено, так про него, как про мертвого: *aut bene, aut nihil*. Так и делал Григорий Андреевич; зато всему соседству, всему знакомству и всем кумушкам нечего было сказать про Григория Андреевича и Ирину Степановну, кроме: «Вот чета! какой мир и согласие!»

Ирина Степановна, не имея собственных детей, полюбила крестницу свою как душу. Снаряжала маленькую Дунечку во всю роскошь детских нарядов с Кузнецкого моста. Снабжала ее тьмой кукол и игрушек. Откармливала ребенка всеми затейливыми сладостями кондитерских. Очень естественно, что родной маменьке это было по сердцу и не отстать же ей от крестной маменьки! И вот она привыкла нежить Дунечку, как нещечко, понемножку привыкла быть детской рабой, величать ее, в подражание крестной маменьке, генеральшей. Но будущей генеральше надо было знать непременно французский язык, танцевать и играть на фортепьяно. Эта мысль стала беспокоить и Марью Ивановну. А Селифонту Михеичу стало казаться, что Дунечка родилась под особенною какой-то счастливою звездой. По совету Ирины Степановны, на одиннадцатом году отдали ее в пансион под особенный личный присмотр и попечение содержательницы пансиона.

Хотя содержатели и содержательницы пансионов и обязываются условиями пансиона брать всех воспитанников до единого под личный присмотр и попечение; но у них существует еще какой-то особенный личный присмотр и особенное попечение. Эта особенность приобретает особенную сумму. Дунечка была особеннее всех прочих воспитанниц благородного пансиона. Для нее все особенное: комната, прислуга, чай, завтрак, и всякий день лакомства, особенное снисхождение к причудам, к лени, к привычке нить, и даже к «я не хочу!» Добрым ее родителям не трудно было дать особенное понятие о ее необыкновенных способностях и успехах. Крестная маменька была надежный судья в ее познаниях французского языка: она всегда разговаривала с ней по-французски.

- Коман-ву портеву, Дунечка?

- Фор-бьян, а-ссе-бьян, - отвечала всегда Дунечка фразой заученных разговоров.

- Иль фо-дир: фор-бьян, мадам, Дунечка; компрене-ву?

- Же-н-се-па.

- А, иль-фо-дир: мадам. Аве-ву-промене ожурдюи?

- Нон.

- Пуркуа-нон?

- Же-н-се-па.

- Иль-фо-дир: же-н-се-па, мадам.

- Какой чудный язык! - повторяла Марья Ивановна, смотря с восторгом на дочь.

- Очень, очень порядочно говорит уж, - замечала Ирина Степановна. - Жуэ кельк-шоз сюр фортепьяно, Дунечка.

- Но, же-н-се-па!

- Ну, ну, жуэ! вальц жуэ.

Дунечка, покобеньясь немножко, садилась за фортепьяно - трын, трын, трын, - нон, же-н-се-па вальц, же-ублиэ.

- Ну, кадрили.

- Кель кадрили? - спросит Дунечка, как будто и Бог знает сколько кадрили играет; и застучает клавишами единственную, на изучение которой иссякла вся ее способность к музыке.

Во время игры вся семья стоит за ее стулом и слушает с удивлением. Иногда и сам Селифонт Михеич посмотрит-посмотрит, да и скажет:

- Хитрый струмент придуман!

- Да ты слушай! - скажет ему Марья Ивановна, толкнув легонько рукою, чтоб молчал.

При чужих Дунечка ни за что не играла. Сама мать попросит-попросит ее, да и заключит просьбу словами: «Что с ней будешь делать, такая стыдливая!»

Матери очень хотелось, чтоб она выучилась играть русские песни; но мадам, которая учила Дунечку на фортепьяно, один раз навсегда сказала: «Фи! Кто учит русские песни! Мужик учит!» А потому и Дунечка отвечала всегда на желание матери: «Кто ж, маменька, играет на фортепьяно мужицкие песни».

Для танцев природа Дунечки была не слишком гибка; но все-таки это искусство как-то больше всего дается девушкам, особенно же при современном падении танцевальной шагистики, когда полька вертит всем головы, когда вместо ног - выделяются па головой, когда и без танцев у прекрасного пола голова кружится, а сердце не ходит в груди как бывало, а пляшет, по простонародному выражению, трепака.

Теперь ни девушки между собою, ни в разговоре о девушках не говорят уже о внутреннем приданом - о богатстве ума и чистоте души, о достоинстве свойств и о чистоте сердца. Даже не говорят и не спрашивают вообще о здоровье существа, помышляющего о замужестве. Но спрашивают только «как велико приданое?». И по количеству денег выводят расчет о выгодах замужества. О чем не говорят, значит, что об этом нечего и говорить. О чем не спрашивают, значит, не нужно. Люди перестали верить в очарования, и женщина, чародейка по естеству, потеряла власть свою над мужчиной. Волшебный взор, пленительный голос, могучие слезы - стали бессильны. Мужчина подходит к ней смело, смотрит ей прямо в глаза, говорит ей не запинаясь, как будто приглашая на мазурку: угодно вам? Ей одно остается - или радостно подать руку, или отвечать: engagez, monsieur! Тем бал и кончен.

Нигде нет такой постоянной беседы о хороших прохожих, о женихах с усами и без усов, о замужестве по любви, по сватовству, о приданом и бесприданницах, как в женских пансионах. Здесь-то по части чувств, любви и замужества составляется винегрет понятий из наслышек, из сказок и романов. Здесь-то все промежутки времени между необходимостью выучить урок и сдать его, наполнены самыми очаровательными мечтами о суженых и ряженных.

Известно, что арифметика, до первых четырех правил, совершенно необходимая вещь при современном образовании девушки. Без арифметики девушка не могла бы ценить себя. Не зная еще этой хитрой науки, Дунечка сначала робела перед рослыми и перед толстыми подругами; но когда выучилась считать до миллиона и когда узнала, что во всем пансионе только она одна миллионная невеста, а все прочие, кто десятитысячная, кто тысячная, а большая часть просто «бесценных» существ, - тогда Дунечка поняла, что она такое. Поняла причину особенного попечения о себе содержательницы пансиона и всей ее прислуги. Какою способностью своей круглой головы - с двумя вставленными серыми гляделками - она понимала, трудно решить. Но верно поняла, что не только красота - прах, но и весь человек со своими внешними и внутренними достоинствами - прах. И даже официальными оценщиками становится в числе тленных вещей, за которые никто не отвечает. Потому что отвечать можно только за нетленное золото. Поняв это, Дунечка поняла без сомнения и то, что только в золотом окладе можно чваниться и кобениться; она это и исполняла в точности.

Когда ей совершилось пятнадцать лет, в купечестве начали поговаривать сперва о миллионе, а потом и об ней. Свахи заглядывали в ворота как гробовщики, прослышав о больном богаче, и поговаривали: «Славная невеста! Миллион приданого! А какая манежная!» Сваха Матвевна, ходившая по делам женихов купеческого звания, готова была съесть сваху Сергевну, которая поставляла невест людям чиновным - кавалерам, инаралам, и прочим, и прочим. Только не прапорщикам и не майорам: неизвестно почему - все невесты терпеть не могут первого обер-офицерского и первого штаб-офицерского чина..

Припомните, пожалуйста, что Фекла Семеновна, супруга почетного гражданина Василия Игнатьича, повела было сватовство сына Прохорушки на Авдотье Селифонтьевне. Матвевна употребила все чары на ее отца и мать, а главное, на крестную матушку Ирину Степановну, во-первых, чтоб не пускать на двор Сергевну, а во-вторых, чтоб отклонить Дунечку от генеральства. «Сударыня ты моя, - говорила она ей, - что тебе генерал: я тебе просватаю графчика». И насказала она ей такие страхи про генералов, как они на войну ходят, как учат жен солдатской темп выкидывать и маршировать под барабан, и какую экзекуцию чинят над женами, и как вместо служанок держат при них денщиков, и прочее, и прочее, что Дунечка пришла в ужас.

- Неужели денщиков, Матвевна?

- Ей-ей! Вот-те Христос! Да ведь же и нельзя иначе по солдатскому быту: ведь женщины-то в поход не ходят, сударыня. Ну и служат генеральшам-то денщики. Денщики и белье стирают, и детей нячат. Военные-то барыни ведь так уж и родятся - у них и стыда нет. А тебе, сударыня, такому нещечку, такой неженке, где ж вести жизнь солдатскую, в лагерях? На тебя ветерок пахнет, так беды-то, беды! Нет уж, избави Бог! Я тебя так полюбила, что и сказать нельзя! Не приведи Бог прослышать, что ты за военного или за чиновника замуж идешь! Руку наложу на себя, ей-ей! А чиновники-то, сударыня: посмотри-ко-сь, как их под суд да под суд, а жизнь-то какой ни на есть чиновницы! Да будь ты, примером сказать, хоть бы и штатская советница, а над тобой-то начальницы и губернские секретарши, и ассессорши, и регистраторши, и сенаторши, и действительные какие-то, да еще есть и тайные какие-то, Бог их знает, все тебе начальницы по мужу, и изволь ездить с поклоном. А уж это, сударыня, не то что приехал в гости, да и сел, да еще и угощают - нет! Настоисься и в передней, покуда позволят войти да с праздником поздравить! Присягну, сударыня, если все это неправда! Выведала я всю подноготную их. Да и отчего ж бы мне не сватать, как Сергевне, чиновных-то лиц? Сама скажи? Еще и

выгоднее. Да Бог помиловал - я не такая бессовестная! Нет, сударыня Марья Ивановна, дочке вашей я просватаю графчика!

- К чему нам графчик, - говорил Селифонт Михеич, - нашелся бы под стать купеческий сын, лучше бы было.

- Ах, нет, тятенька! - вскрикивала с обиженным чувством Дунечка.

- Что «нет, тятенька»? А?

- Ничего, тятенька.

- Ох, да не мешайтесь в наши дела, Селифонт Михеич, уж не беспокойтесь, будет все и по-вашему и по-нашему, - возражала Матвевна.

И наговорила она короба с два про Прохора Васильевича, сына почетного гражданина. Дело шло уже к тому, чтоб показывать невесту; да Фекла Семеновна заболела, умерла, а Прохорушка отправился в Немечину. Прохорушка, взяв у отца деньги на покупку машин за границей, отправился из Москвы как раз перед Ростовской ярмаркой. Известный уже нам несколько приказчик Трифон поехал провожать его.

Прибыв на Ростовскую ярмарку на неделе, которую величают там второй неделей масленицы... Но оставим его куда догуливать и обратимся к нашему герою, который в отсутствие Прохорушки играет роль его так искусно, что Бог ведает, как в этом подсолнечном и подлунном мире отличить ложь от истины, мнимое от настоящего, и даже черное от белого.

Когда Василий Игнатьич радостно и горделиво посмотрелся на своего мнимого сынка, одетого по последней моде, тотчас же послал за Матвевной.

- Постой, постой, брат Проша, куда? не уходи, сиди! - сказал он Дмитрицкому, который, показавшись почтенному родителю, хотел было поцеловать у него ручку и шаркнуть вон.

- Постой, брат, постой, вот придет Матвевна, пусть-ко посмотрит на тебя да скажет, пригиден ли ты Авдотье Селифонтьевне.

- Матвевна придет, тятенька? - сказал Дмитрицкий, смекнув дело, - а я было хотел съездить к Иверской!

- Оно так и следует. Да постой: что ты, брат, нанял за слугу такого? Такая скверная рожа!

- У кого? У Конона? Помилуйте, тятенька, вы посмотрели бы, что за душа у этого человека! И что за верность, что за усердие... Так и сторожит меня.

- Мне не нравится.

- Знаете, тятенька, я ведь забыл, как бишь Матвевну-то величают по батюшке? - спросил Дмитрицкий.

- Да Матвевна же и есть по отце; а зовут-то ее Соломонидой. Ну, садись. Слышишь?

- Слушаю, тятенька.

- Она тут близко живет.

Матвевна не заставила себя долго ждать. Она вошла в дверь, обратилась к образной, перекрестилась, и потом, низко кланяясь, возгласила:

- Здравствуй, батюшка, Василий Игнатьич! Все ли вас Бог милует, как изволите поживать? Ох, господи, так и замирает душа, как вспомнишь Феклу Семеновну.

Василий Игнатьич откашлянулся.

- Матвевна, - сказал он, - вот его графское сиятельство пожаловал ко мне...

- Ах, ваше графское сиятельство; извините; я такая дура, что мне и не в примету, что вы здесь изволите сидеть...

- Так вот, Матвевна, - продолжал Василий Игнатьич, - их графскому сиятельству есть дельце до тебя.

- Какое, батюшка?

- А вот какое: их графскому сиятельству угодно жениться на Авдотье Селифонтьевне.

- На Авдотье Селифонтьевне? Их графскому сиятельству? Ох, вы меня, сударь, морочите.

- Ей-ей, так! - отвечал Василий Игнатьич, разгорясь от довольствия, что Матвевна в самом деле почитает его Прохора Васильевича за графа. - Вот что, Матвевна; оно, то есть, ничего, так себе, его графское сиятельство хочет отбить невесту у моего Прохора! Ась? Каков его графское сиятельство? Матвевна, а?

- Ох, да вы, Василий Игнатьич, морочите меня! - повторила Матвевна, всматриваясь в сидящего перед Василием Игнатьичем франта, в белых перчатках, с тросточкой, в зеркальных сапогах.

«Не узнает меня, Соломонида Матвевна, - подумал Дмитрицкий, - да и где ж узнать, мы с ней не видались с самого создания мира. Заговорю с ней по-вороньи, может быть догадается».

И Дмитрицкий откашлянулся, подернул головой и пожал неуклюже плечом.

- Оно, то есть, Соломонида Матвевна, не изволили признать меня, - начал он скороговоркой, - а мы, кажется, всегда со всяким почтением пребывали аккурат, то есть, как следует.

«Ох, да что ж это, - подумала Матвевна, - кто ж это такой? По перьям-то графчик, а по голосу-то сдается, не тово...»

- Ну, что ж задумалась, Матвевна? - сказал Василий Игнатьич.

- Ой, насмехаетесь надо мной, сударь Василий Игнатьич; сердце чует...

- Чует? Да еще не расчихала? А? Матвевна, как ты думаешь?

- И думать-то не знаю что... да неужели уж...

- Уж нечего скрывать, тятенька: я вижу, что Соломонида Матвевна узнала меня, - сказал Дмитрицкий.

- Прохор Васильевич? Господи! Да кто ж бы подумал? - вскричала Матвевна, - и в глаза смотрю, да не узнаю! Как переменялся...

- А? Матвевна? Вот он каков приехал из-за границы-то, сам на себя не похож! - сказал Василий Игнатьич.

- Что ж, сударь, действительно переменялся, да к своему же авантажу.

- А? Прохор, встань-ко да перевернись на одной ножке, по-французскому-то...

- Извольте, тятенька, - отвечал Дмитрицкий; встал, прошелся по комнате en galant homme, перевернулся на одной ножке и сделал приятную мину Соломониде Матвевне.

- Ну, что скажешь, Матвевна? - спросил Василий Игнатьич.

- Ну, уж правду сказать, великатес, батюшка! Уж такой стал графчик, бравой да гибкой, словно на пружинах! Поопал в лице только, чай, с дороги? Когда пожаловал?

- Не о том дело, Матвевна, а вот что: ты побывай сейчас же у Селифонта Михеича, понимаешь?

- Понимаю, понимаю, сударь. Господи! Да еще бы Авдотья Селифонтьевна не пошла за такого женишка! А с родителями-то ее был уж лад.

- То-то; так ты как знаешь, так и делай, чтоб до поста дело покончить. На-ко, вот тебе на гарнитуровое платье да на платок...

- Много благодарна, Василий Игнатьич, помню и прежние ваши щедроты; из одной доброй памяти милостей Феклы Семеновны я бы Прохору Васильевичу просватала царь-девицу, ей-ей!

- Ну, ну, не сули журавля в небе, дай синицу в руки.

- Добро уж, добро, прощайте, сударь! Ну, графчик, нече сказать!

- Ах, да, тятенька; кстате Соломонида Матвевна напомнила: ведь я за границей приторговался к графству.

- Как к графству приторговался?

- Да так; там стоит только купить графство, то есть поместье, так и граф. Если пожалуете мне денег, я тотчас же покупаю.

- Ой? Неужели? А много денег?

- Тысяч двести, не больше; чудное именье! Какие виноградные сады, какие вины! Да вот вы знаете вейн-де-граф?

- Как не знать.

- Ну, так вот именно; по этому графству и вино называется графским.

- А шампанеи там нет?

- Немного: тысяч пять кустов виноградных, на десять тысяч бутылок.

- Ей-ей?

- Не более.

- Слышь ты, это мало! В самом деле не худо бы! Слышь, Матвевна, ты покуда никому не говори!

- Ни слова, сударь!

- Ну, то-то, ступай себе с Богом, да не мешкай!

- Уж я буду мешкать!

Матвевне не впервые пришлось возбуждать в девушке смертную охоту поскорее выйти замуж, восхищать ее воображение чудным женихом, поселять в сердце алчную к нему любовь, внушать страстное желание скорее быть просватанной и боязнь, чтоб дело не разошлось. Это был какой-то морок.

- Знаю я, сударыня, - говорила Матвевна, - что это твой суженый, не обойти его конем!

И омраченная девушка, при первом свидании с своим суженым, не спрашивала уже ни у одного своего чувства, по сердцу ли он ей, а потупив глаза только думала, как бы ему понравиться. Она готова уже была на веру в слова Матвевны без смотрю стать под венец.

Авдотья Селифонтьевна была не царевна премудрая, Матвевне стоило только зайти в ее покой, всплеснуть руками, ахнуть и вскричать:

- Радость ты моя, Авдотья Селифонтьевна, какое счастье тебе выпадает! На днях гадала о тебе: выходит жених, на пути, да и только! Ну вот выходит, хоть сто раз клади карты, не отгадуешься! А сегодня, сударыня... ох, дайте собраться с силами! Запыхалась!

- Говори, душечка Матвевна!

- Вот дух переведу... Ох, какой бравой, какой приятной, какой богатой, что за щеголь! Что наши здешние графы и князья...

- Да говори, душечка Матвевна: кто ж он такой?

- Уж вестимо, что не какой-нибудь голь-инарал!

- Да кто ж он такой? Милочка Матвевна!

- Погоди, не вдруг, ей-ей! Вот уж не ожидала! Видела я его и прежде: хорош был, красавец, вот и все. А теперь, как побывал во французской-то земле - ну! Уж я и не знаю, что сказать. Купил там графство. Слыхала ты про графское вино, что подают на стол? Из его поместья. Купил за двести тысяч, ей-ей!

- Голубушка Матвевна, да кто ж он такой?

- Кто такой? Сударыня ты моя! Готовь только подвенечное платье, а уж графинею-то будешь! И до отъезду-то его за границу, я уж видела, что за человек, и тебе же его прочила.

- Мне? Да ты мне сватала сына Феклы Семеновны... А его не сватала.

- Не сватала?

- Когда ж ты сватала? Разве с маменькой говорила... А почетной-то гражданин, эка великая вещь! Мы сами почетные, что ж тут такого особенного?

- А то и особенного, сударыня, что права-то те же дворянские, хоть шестерку запрягай в карету или коляску. А в кармане-то миллион! А у простого-то дворянина - шиш! Вот тебе и что особенного. Вот он купил себе графство, да и граф; ступай себе куда хочешь подбоченяйся. А дворянин-то выслуживайся, да еще разве что до инаральства дослужится...

Авдотья Селифонтьевна задумалась, подставила одну ручку под локоток другой и опустила голову на ладонку, забыв, что мадам твердила ей всегда, что это «мушичка» так делает.

- Да неужели же это... как бишь... Прохор Васильевич?

- Ох, догадлива ты, Авдотья Селифонтьевна! И не видывала такой барышни, ей-ей! Зато уж и тебя люблю! В старину какой-нибудь королевич увидел бы тебя в трубу у окошка, и быть бы тебе королевой! Да теперь не те времена - перевелись королевичи, да и царств-то стало мало: вот только и есть что русское, да иноземные - англиское, французское, да немецкое, да еще какое-то; да и те все едино, один у них царь был Аполион...

- Помилуй, Матвевна, а турецкое-то?

- Вот тебе раз! Какое ж у турок царство? Там просто султан сидит - с усами по колено да с трубкой в руках. Да и какие ж там женихи?

- Ты видела его, Матвевна? - спросила Авдотья Селифонтьевна, снова задумавшись.

- Гм! Бежала бы я сюда опрометью, если б не видела!

- Так ты говоришь, Матвевна, что он в Париже купил себе чин графской?

- Что чин, - поместье с виноградными садами!

- Стало быть, он там и жить будет, как женится?

Этот вопрос смутил Матвевну. Ей пришло в голову, что, в самом деле: Прохор Васильевич, купив во французской земле поместье, вздумает жить там, и это расстроит свадьбу. Селифонт Михеич и Марья Ивановна, подумала она, ни за что не отпустят дочку в чужую землю. Да и Авдотья Селифонтьевна, верно, не согласится идти за французского помещика...

- Бог с тобой! - вскричала она в ответ, - зачем жить во французской земле, что там делать?

- Ах, нет, Матвевна, уж если я пойду за него замуж, так с тем, чтоб ехать жить в Париж, в свое имение! Непременно.

Матвевна совсем перепугалась.

- Ах, друг ты мой сердечный, да избави Бог! На этом условии ни отец, ни мать твои не согласятся отдать тебя замуж! Уж ты хоть до свадьбы-то не говори никому, что жених-то твой французской помещик. Да старики и руками и ногами отбрыкаются от него! Не говори, ни за что не говори!

- Ну, хорошо, я не скажу. А уж это - непременно; не то я и замуж не хочу идти. Теперь все ездят в Париж. Ведь все моды-то, Матвевна, идут из Парижа. Там настоящие, а здесь что - дрянь, да и как дорого, если б ты знала. Я видела у мадам Лебур настоящую шляпку, прелесть! Да они еще и не продают настоящие парижские шляпки, а выписывают себе для образца, да и

шьют по ним. Уж где ж так сшить, как в Париже! А перчатки-то французские, платки-то бурде-суа, материи-то французские - прелесть! Да и всё... А здесь-то - что?

- Правда, правда, нечего и говорить, - отвечала Матвевна. - Ох ты, мое солнышко светлое! Как разрядит он тебя там графией, что это будет... на удивление!

И с этим словом Матвевна расцеловала Авдотью Селифонтьевну. А у Авдотьи Селифонтьевны так заколотило сердце от желания сейчас же - сию минуту выйти замуж и ехать тотчас же от венца в Париж, что если б Матвевна не принялась уверять ее всеми святыми, что это сбудется, то она, по русской поговорке, пошла бы да и утопилась.

V На Матвевну можно было полагаться. Она предупредила Василья Игнатьича, чтоб, пожалуйста, он до времени не говорил никому, что сынок его покупает во французской земле графское поместье.

- Ладно, ладно, - отвечал он, - помолчу, помолчу! Я уж и деньги выдал Прохору. Так завтра нас ждут?

- Завтра, сударь, чайку откушать.

- Да ты бы, Матвевна, намекнула, чтоб бутылочку вен-де-графцу приготовили, что, дескать, я очень люблю это вино, слышишь?

- Скажу, скажу, Василий Игнатьич. Что ж им значит бутылочка белого! И шампанского поставят, если прикажете...

- Нет, до шампанского еще дело дойдет; а вот вен-де-графцу-то непременно! Ступай себе, мне надо ехать.

И Василий Игнатьич отправился к Сидору Яковлевичу, знакомому погребщику - прямо в его погреб ренских вин. И, не успев порядком разговориться о добром здоровье, потребовал бутылку вен-де-графу.

- Прикажете завернуть?

- Нет, брат, раскупорь, - сказал Василий Игнатьич.

- Извольте, сударь. Да что ж простого столового; не прикажете ли попотчевать вас шампанским?

- Что? Простого столового? Нет, брат, настоящий-то венде-граф вино не простое, а графское, оттого и называется так.

- У нас, Василий Игнатьич, самое лучшее, подлогу нет, извольте откушать.

- Покажи-ко бутылку. Здешней разливочки?

- Да как же, сударь: белое ренское привозится в бочках.

- Что? Как бы не так!

- Ей-ей; да вот извольте спросить у Трофима: он жил у Леве.

Василию Игнатьичу раскупорили бутылку, налили вина в рюмку и подали на подносе. Василий Игнатьич хлебнул и поморщился.

- Нет, Сидор Яковлевич, извини; это, брат, не вен-де-граф!

- Помилуйте, Василий Игнатьич, буду ли я подавать вам другого вина! Сами же изволили потребовать вен-де-графу. Что ж, вен-де-граф - неважное вино из ренских: всего-то в полтину серебра бутылка, а для вас полтора рубля. У нас, сударь, всякие вина есть: бургонское - самое лучшее, мадера-с, малага... что прикажете.

Василий Игнатьич задумался было, поверив на слово приятелю своему Сидору Яковлевичу, который уступал ему вина в полцены против Леве. И если б Прохор Васильевич был налицо, он бы тут же пугнул его за покупку дрянного поместья с кислыми винами. Но, к счастью, ему кое-что пришло на мысль.

«Э! Да какой я дурак!» - подумал он: - знаю, брат, знаю, что есть у тебя и малажка и всякие иностранные вина... да русского изделия!

- Что-с? Как-с?

- Да так, брат: бочки-то с ренским вином везут тебе из Крыма, а уж тут, брат, подсластить, да подкрасить сандальцом, да подпустить взварцу какого... не штука.

- Так что ж такое, Василий Игнатьич, - произнес с обидой Сидор Яковлевич: - уж коли в иностранных землях что делают, так нам и не делать?! А на что ж, сударь, наука? Известное дело, что ренское вино - цельное - родится везде только белое да красное, а уж другого не бывает. Да куда ж, сударь, цельное-то годится? Если не фабриковать его, так что в нем? Ординарное или, так сказать, столовое, вот и все. И кисло и без всякого запаха, да и крепости никакой. Надо правду сказать, что французы мастера фабриковать: по сию пору все вина до единого идут под названием французских - «погреб французских вин», да и кончено-с. А тут и немецкие, и итальянские. Только вот аглецких вин совсем нет-с, потому что народ такой - способности нет. Пор-

тер аглецкой да пиво - вот их дело. Так изволите ли видеть, до сих пор французы в секрете держали - как фабриковать и малагу-с, и фронтиньян, примером сказать, и дремадеру-с, и шампанское, и разные сорта. Ну, лонель... и еще, как бишь его... Да вот несколько лет случилась там революция-с. То есть, вот как в животе бывает: перессорились все, передрались. Вот-с и понесло их - кто куда. И развелись фабрики. Секрет-то открылся; а теперь уж и в книгах печатают - как и шампанское делать, и малагу-с. А вен-де-граф...

- Нет, брат, нет, морочишь, Сидор Яковлевич! ей-ей не поверю. Вен-де-граф, брат, так уж вен-де-граф; его только на месте и делают; а это черт знает что!

- Как угодно, Василий Игнатьич; да извольте потребовать другого винца.

- Нет, нет, спасибо; прощай покуда!

- Да позвольте отпустить с вами бутылочку хоть вот венгерского.

- Нет, нет, брат, спасибо; прощай покуда!

- Да вам, может быть, дорого показалось? Для вас мы за свою цену уступим: по рублю бутылка.

- Нет, нет, брат! Вен-де-граф - по рублю бутылка! Настоящее французское вино - по рублю бутылка! - прикрикнул Василий Игнатьич и остановился в дверях: - пьфу! Да я тебя знать не хочу! Нашел дурака! Надувай, брат, телячью шкуру, а не меня!

И Василий Игнатьич, гневный, отправился из погреба иностранных вин в магазин иностранных вин, и потребовал бутылку вен-де-графа.

- Да послушайте: - сказал он, бросая ассигнацию в пятьдесят рублей серебром, - мне дайте настоящего, а не поддельного! Что хотите возьмите - хоть сто рублей за бутылку, только уж настоящего!

Гордый комми не отвечал ничего Василию Игнатьичу. Приказав завернуть бутылку, вычел, ни слова не говоря, два рубля пятьдесят копеек за вино.

- Так в два с полтиной-то настоящее? - сказал Василий Игнатьич, сосчитав деньги.

- Настоящее, - отвечал комми.

Приехав домой, он нетерпеливо потребовал штопор и рюмку, раскупорил бутылку, налил рюмку, посмотрел на свет, хлебнул и плюнул.

- Где Прохор? Позови его ко мне!

В это время наш Прохор Васильевич был в раздумье. Получив билет на двадцать пять тысяч от Василия Игнатьича, он вздохнул и стал тосковать о Киевской и Подольской губерниях, где жизнь его текла привольнее, ничто не связывало - ни чин, ни звание, ни состояние. Где его величали просто «пан Дмитрицкий» и где как ласточки кружились около него панны. Где паны предлагали ему ставить на карту деньги, а панны сердце...

«Раздолье! - думал он, - что, не опять ли туда? А? Васенька, что скажешь? Говори же откровенно - что, хочется? Да нельзя, душа моя. Ведь ты теперь «Прохор Васильевич». Во-первых, мошенник Тришка приставил к тебе дядьку, который не выпустит добром из Прохоров Васильевичей, а во-вторых, тятенька такой добрый, так заботится о тебе... Вот женишься, дело другое. Возьмешь в приданое миллион, тогда можно подумать об отставке. А теперь - что: дал тятенька двадцать пять тысяч в задаток на покупку имения во Франции, а не знает того, что у тебя еще в России тьма необходимых расходов. Половину надо отдать бедному заключенному на расходы по делу его; остальные - в пользу бедного человечества. Притом же, надо как-нибудь рассеять тоску. Ты сам знаешь - не легко человеку, имеющему понятие о жизни, быть Прохором Васильевичем. На такую роль нельзя согласиться без полного бенефиса. На бенефис мы дадим «свадьбу», а потом подумаем, что предпринять дальше. «Женишься - переменишься», говорит пословица; и я, любезный друг, душевно желал бы, чтоб ты остепенился, получил оседлость, заслужил у добрых людей честное имя, принес хоть какую-нибудь существенную пользу человечеству. Человечество, мой милый, бедно, любит существенную пользу и всякого рода приношения. Ты можешь и самого себя, и всех ближних и дальних, лишить чего угодно... и облагодетворить человечество, и это будет и честно, и справедливо. В самом деле, чего жалеть какого-нибудь гнусного, жирного, удобренного счастливого для несчастного, страждущего человечества? Не правда ли?»

- Эй! Конон! ты здесь?

- Да здесь же!

Из передней вошел слуга, вроде театрального черта, одетого в холопскую ливрею.

- Ты мошенник?

- Никак нет!

- Ну, так плут?

- Никак нет!
- Так ты, следовательно, честный человек?
- Отчего ж не честный-то, сударь? Я у вас, Прохор Васильич, ничего не украл.
- Да отчего ж это, Конон, воры не любят, чтоб их называли ворами?
- Вор - по улике. А как не уличишь - так какой же он вор? Да тот еще вор, кто не спросясь чужое берет. А я всегда спрашивался у своего хозяина. Как велит - так дело другое: я человек подвластный, кормлюсь жалованьем; что прикажет Трифон Исаич, то и делаю. Поди-ка у него не сделай... так он такую втулку подбоченит, что все сусло вытечет.
- «Ого, - подумал Дмитрицкий, - с каким деловым народом черт свел меня!»
- Чу, Василий Игнатьич изволил спрашивать вас, - сказал Конон. - А Трифон Исаич приказал доложить: «нельзя ли еще хоть столько же завтра получить?»
- Скажи Трифону Исаичу, чтоб он до свадьбы не беспокоился.
- И Дмитрицкий пошел к своему тятеньке.
- Пошел рыскать по Москве! Ох, Прохор, не люблю я этого! - сказал Василий Игнатьич, - что у тебя за поведенция такая!
- Напрасно, тятенька, не любите: я все хлопотал по вашему делу, насчет, то есть, покупки имения.
- Да что имения, черта ли имения! Я не хочу, брат, кислого графского вина! Поди-ко-сь, десять тысяч бутылок - по два с половиной в продажу! Выкинь из них за выделку, за провоз из-за границы, за бутылки да за закупорку, так того и смотри, что наживешь по гривне с бутылки! Пьфу! На-ко, попробуй...
- Это уксус, что ли, тятенька?
- Нет, брат, не уксус, а твой вен-де-граф!
- Это? Это? Помилуйте! Где вы это взяли?..
- Купил в иностранном магазине.
- Гм! Здесь вы хотите иметь настоящий вен-де-граф! Да здесь и вкусу его не знают! По два с половиной - бутылка! Ха, ха, ха, ха! А на месте оно вдвое дороже. Знаете ли, за какое вино его продают здесь?
- Ну, не знаю.
- За лакрима кристи, потому что этого вина и самому Папе на целый год недостает...
- Скажи пожалуйста! Мошенники! То-то бессовестный народ! - воскликнул Василий Игнатьич с глубоким чувством негодования. - Так морочить добрых людей! Одно вино продавать за другое! Да еще за какое - за лакрима кристи! Повесил бы, собачьих детей! Ей-ей, повесил бы! Так ты говоришь, что вен-де-граф-то идет у них за лакрима кристи?
- Именно, тятенька; уж это я наверно знаю.
- Так достань, брат Прохор, попробоваться. А почему продают они бутылку... как бишь?
- Лакрима кристи? Не меньше пятнадцати рублей крошечная бутылочка; не бутылочка, а пузырек...
- Да это вино, чай, как лекарство - пить можно по рюмочке от разных болестей?
- Разумеется, тятенька.
- А бутылка вен-де-графу-то что нам будет стоить на месте?
- На месте? Не больше рубля серебром.
- Ну, положим за провоз рубля хоть полтора с бутылки - всего-то пять рублей. А они катают пятнадцать! А? А сколько бутылок вина можно выделать в графском-то имение?
- Тысяч двадцать в худой год.
- Скажи пожалуйста! Ведь двести тысяч в год доходу! Рубль на рубль! Послушай, Прохор, ты, брат, не говори никому, что мошенники-то продают настоящий вен-де-граф за... как бишь?
- Лакрима кристи.
- Да. А за вен-де-граф продают - простое ренское. Не говори никому. Уж они, каналы, так опозорили его, что и не продашь дороже двух с половиной. Не нести же убыток! Мы его так уж и будем продавать за... как бишь?
- Лакрима кристи.
- Да. Так уж и будем. Не на нашей душе грех. Черт с ними! А имения нельзя уступить.
- Разумеется, тятенька. Мы свой откроем погреб.
- Свой, непременно свой! Не погреб, а магазин...
- А какое венгерское я умею делать из монастырского вина! Знаете, что продается здесь по рублю бутылка... Просто чудо! Сам венгерский король не узнает, что не настоящее.
- Ой ли?
- Ей-ей! Еще не простое, а столетнее, которое продается червонца три за бутылку на месте.

- Что ты говоришь?
 - Ей-ей!
 - Ну, откроем, брат Прохор, магазин вин. Я чайную торговлю брошу, черт с ней! От нее теперь нету никакой прибыли. А еще того и гляди, что беду наживешь: такая непомерная строгость! Ну, да добро. Молчи. Не пора ли нам к Селифонту Михеичу? Чай, ждут нас?
 - Я готов.
 - Ну, так поедем, - сказал Василий Игнатьич. - За невестой, Прохор, миллиона на полтора будет. Вот как женишься, так ты, брат, сам съезди опять за границу, да поищи там - нет ли еще каких статей поприбыльнее...
 - Я тоже об этом думал, тятенька. С деньгами там, знаете, каких секретов можно накупить!
 - Хитрой там народ живет, подумаешь!
 - У... Что наш народ против тамошнего: овца!
 - Овца, ей-ей овца!
 - Овца, тятенька. А пора уж, кажется, чтоб чужие волки не драли с нас шкуры!
 - Ей-ей так! - воскликнул Василий Игнатьич, разгораясь более и более злобой на промышленных иностранцев.
 - Пора, тятенька, своим завестись.
 - Ей-ей так, брат Прохор!
 Рассуждая таким образом, Василий Игнатьич подъехал с сыном к палатам Селифонта Михеича.

(Продолжение следует)

Александр Фомич Вельтман.

*Кроме чужих неприятностей
 в жизни есть и другие радости.*



*Только жить начали,
 а тут деньги кончились!*



**Сиянье люстр и зыбь зеркал -
 Сплелась в один мираж хрустальный
 И веет, веет ветер бальный
 Теплом душистых опухал.**

*Похолодели лепестки
 Раскрытых губ, по-детски влажных
 И зал плывёт, плывёт в протяжных
 Напевах счастья и тоски.*

И.Бунин

Мечта

**Ты – ветер в тугих парусах,
 Ты – солнца лучистого свет,
 Сердец юных трепетный сад,
 Души моей нежный сонет.**

**Как моря лазурного всплеск,
 Как ласковый шепот травы,
 Несешь, озаряя окрест,
 Рассветное счастье любви.**

Владимир Лебедев.
Нижний Новгород

Ноябрь

Сиреневый пожар стихает в клумбах.
 Мерцает сплошь перекасти-листва,
 Сбежавшая в слезах в порыве румба,
 С верхов на самый нижний пьедестал.

Ещё один виток в спирали века,
 Упорно пыжась яркой сединой,
 Стремится, остывая, в царство снега,
 Чтоб там, защёлкнув год, пройти в иной.

Ну что же, сколько раз всё это было!
 Привычен дат ушедших эпилог.
 И провожая то, что отслужило,
 С надеждой смотрим в будущий виток.

«Свете Тухий»

Светлана Тишкина.